

Copyright © 2014 by Academic Publishing House *Researcher*



Published in the Russian Federation
Russkaya Starina
Has been issued since 1870.
ISSN: 2313-402X
Vol. 9, No. 1, pp. 47-60, 2014

DOI: 10.13187/issn.2313-402X
www.ejournal15.com



UDC 94(470) «1931/1939»

«We Also Want to Live Happily, as Our Beloved Stalin»: Letters cut Emotional Leaders of the Provincial Cities of the USSR (1930s)*

Irina G. Tazhidinova

Kuban State University, Russian Federation
Kuban Naberezhnaya street, 4. Krasnodar city, 350063
PhD (History)
E-mail: tajidinova@yandex.ru

Abstract. This article is devoted to the study of the emotional sphere of Soviet everyday life from the perspective of cultural history of emotions. The study of this slice of everyday life (for example, the provincial cities of the USSR of the 1930s) requires the use of appropriate sources. Such sources in this case were letters leaders (Stalin, Molotov, Kalinin, etc.) from ordinary citizens. These documents describe different aspects of life in the provincial cities of the country specific requests of citizens, and, in general, give an idea of what the ideal pre-war decades of the Soviet people was "happy life", which, for the most part, they were deprived.

Keywords: Cultural history of emotions; daily provincial town; letters of authority; complaints; requests; survival; emotional reaction; sadness; grief; joyfulness; happiness; love.

Введение.

В августе 1935 г. в письме на имя секретаря ЦИК СССР (в недавнем прошлом – первого Прокурора СССР) И.А. Акулова старый большевик Ф.И. Лаптев, проживавший в г. Кирове, передавал «сердечный привет» Михаилу Ивановичу Калинин. При этом без видимой цели отметил, что написать «душевный привет» не хочет, так как «в человеке души никакой нет и быть не может, а есть только весьма сложная машина» [1]. Машине, действительно, эмоции испытывать не дано. Человеку же, как бы ни гнали от себя эту мысль наиболее последовательные строители нового социалистического общества, индивидуальных душевных переживаний не избежать. Задавшись целью расширить представления об эмоциональной жизни советского человека сталинской эпохи, историкам, безусловно, стоит сосредоточиться на дневниках и частной переписке как источниках личного происхождения, уже в силу своей специфики запечатлевших пережитое в данной сфере. Подобные исследовательские задачи могут решаться и обращением к художественной литературе рассматриваемого периода.

В то же время в контексте изучения культурной истории эмоций, наряду с названными источниками, весьма небесполезно исследовать различные формы апелляции советских граждан во власть (к ним относятся письма, заявления, прошения, доносы и пр.), тем более

* Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 14-01-00239а «Чувства под контролем: повседневность провинциального города 1920-1930-х гг. в ракурсе культурной истории эмоций».

что они являются своего рода приметой сталинского времени (при том, конечно, что данная традиция имеет глубокие корни в челобитной и петиционной культуре российского общества). По утверждению составителей сборника «Письма во власть. 1928–1939 гг.», вышедшего в серии «Документы советской истории» и представившего большую подборку характерных источников, заявления и письма такого рода, с одной стороны, были важнейшей частью механизма управления государством, а, с другой, – являлись значимым срезом общественных настроений [2].

Как известно, социологи трактуют общественное настроение как социально-психологический феномен, проявляющийся в определенном состоянии чувств и умов, типичных для конкретной группы, общества в целом в тот или иной период времени или для некоторой социальной ситуации. В совокупности с потребностями и общественным характером общественное настроение образует эмоционально-волевой аспект общественной психологии. Также важно, что его отличает определенный уровень накала: апатия, депрессия, подъем, энтузиазм. Познакомившись с вышеупомянутым сборником документов 1928–1939 гг., можно зафиксировать различные степени эмоциональной интенсивности, проявлявшиеся на отдельных стадиях того исторического отрезка, который историки обычно называют «сталинской революцией сверху». Очевидно, что накал эмоций менялся под влиянием тех многочисленных в рамках данного периода событий, которые серьезнейшим образом трансформировали жизнь страны и, чаще всего, имели трагические последствия для ее населения. При этом эмоциональная реакция на конкретные события определялась тем, насколько они затрагивали интересы того или иного слоя советского общества. Опираясь на материалы данного сборника, попытаемся рассмотреть сквозь призму эмоций те письма в адрес вождей партии и государства, которые поступали к ним в столицу из провинциальных городов Советского Союза [3].

Обсуждение и результаты.

Среди характеристик эмоции основной считается валентность (или тон), т.е. ее принадлежность к отрицательному или положительному ряду. То, что для большей части корреспонденции, адресованной советским вождям из провинции, было свойственно отражение негативных эмоций, в принципе, не удивительно, т.к. перед нами, в большинстве своем, жалобы и прошения граждан. Однако здесь не лишне акцентировать, что во многих посланиях есть указание на длительность испытываемой эмоции (горя, печали, гнева и др.), ее не ситуативный, а хронический характер. На этом фоне выражения любви, уважения, почитания, которые также довольно распространены в корреспонденции вождей (и к которым мы обратимся специально во второй части настоящей статьи), вызывают вполне объяснимые сомнения в искренности их авторов и, даже более того, зачастую представляются лицемерными.

Что касается затяжного характера душевных переживаний, то накопившуюся горечь тех, кто называл себя старыми большевиками, можно прочувствовать по письму Николая Семеновича Кратюка – «человека низшей революционной породы». Именно так отрекомендовался Кратюк В.М. Молотову, когда решил в сентябре 1935 г. послать ему письмо. Приняв это непростое решение («Что бы написать Вам – я долго терзался, ведь это письмо все же просительное»), Кратюк на прочтении своего послания настаивал не без нажима: «Я, т[оварищ] Молотов, не пропускаю ни одной Вашей речи в газетах. Читаю. Почитайте и Вы один раз, что я пишу Вам» [4].

Свою автобиографию Кратюк уместает на одной странице: описывает рабочее происхождение и то, как «за всю революционную жизнь отбухал около 10 лет тюрьмы, 7 лет ссылки и 2,5 года партизанства». В краю ссылных (г. Минусинске Красноярского края) он и осел, поскольку для возвращения на родную Украину средствами не располагал, а обращения к Калинину и в местные органы власти по данному поводу результата не дали. Следующая часть письма гораздо более пространный и посвящена описанию существования семьи Кратюка, готового махнуть рукой на любые собственные проблемы, но имевшего «на несчастье» жену и четырех детей. Хроническое недоедание, отсутствие обуви и одежды (на которые нет средств, а, впрочем, и в магазинах их тоже нет), плохое здоровье – таковы лишь некоторые из бед «камнем давящей» на Кратюка семьи. На всем протяжении объемного письма невозможно отыскать слов любви и тепла в адрес этих самых близких автору людей,

а лишь тотальное беспокойство за их элементарное выживание. «Обида» и «беспредельная тоска» – таким вырисовывается эмоциональный фон жизни этого еще нестарого человека.

Что касается социальной зависти, то она также имеет место. Зависть возникает от сравнения с бытом тех, кто «*потихоньку сосет советскую коровушку*» («*а узнать [таких] нетрудно в маленьком городишке, если присмотреться к их жизни*»), но также, очевидно, распространяется на адресата письма как представителя верхнего слоя большевистской партии, который обеспечил себе безбедную жизнь. Кратюк сообщает Молотову, что написал ему еще и для своеобразного укора – «*потому, чтобы Вы узнали, ложась спать в теплой, удобной квартире, без мысли: что же завтра есть, вспомнили Кратюка в Сибири, застрявшего в ссылке, который (да не один, а целой семьей) в процессе II стадии чахотки угасает от недоедания, того Кратюка, который долгие годы тюрьмы, ссылки, сопок голодал, мерз и наживал болезни*». Представление о душевном состоянии корреспондента можно уточнить и по приведенной в письме Молотову сцене: «*В комнате перед моей кроватью висят два портрета: Ваш и Сталина. Часто я подолгу смотрю на Вас и мысленно перебираю свои 25 лет. О чем я думаю, глядя на Вас, и что говорю вашим портретам – Вы не знаете*» [5].

Стоит отметить, что запрошенная Н.С. Кратюком корова (просьба помочь с ее приобретением в рассрочку и была целью письма Молотову) оказалась ему выдана уже через две недели, причем бесплатно. В реакции получателя благодарность смешивалась со смущением, желанием оправдать свое «*клянчище*»: «*Для семьи приобретение коровы бесплатно явилось приятной неожиданностью. Целое событие!.. Если бы не жена-туберкулезник и двое детей с большой пониженной упитанностью и долгим хроническим недоеданием – я не стал бы беспокоить товарища Молотова. Я решил из-за семьи на крайнюю меру...*» Правда, теперь уже сам Кратюк столкнулся с завистью окружающих, переживая «*немало неприятностей*», к которым, впрочем, относился стойчески: «*Ко мне приставали с вопросами: как удалось достать корову и почему через Молотова. Я насмешливо отвечал: “Кум мне Молотов – вот и корову дал крестнику”... Впрочем, поговорят и бросят. Большое спасибо за быстроту и заботу*» [6].

Поскольку жалобы на голодное либо полуголодное существование присутствуют в письмах горожан как доминирующие, то трудно ожидать проблесков в них положительных эмоций. Разочарование и безысходность выступают как основной лейтмотив многих писем. Разочарованность происходила из дезориентации (своего рода «ножниц»), наступавшей вследствие неумеренного декларирования успехов в масштабе страны и реально ощущаемого собственного (и миллионов других подобных) прозябания на обочине жизни. «*Я читаю газеты и знаю, что наша родина богата и имеет все, что угодно, но я не понимаю, отчего тогда у нас нет самого необходимого для жизни*», – обращалась к В.М. Молотову домашняя хозяйка из Горького (ноябрь 1938 г.). Женщина подробно информировала его о продовольственных проблемах, когда месяцами наблюдаются перебои с основными продуктами питания (чаем, маслом, мясом и др.) и предметами первой необходимости (мылом, спичками и пр.). Положение «*подальше от Горького*» описывала как еще более плачевное; приводила в пример город Богородск, находящийся в двух часах езды от Горького, где ее подруга (по профессии счетовод) «*совершенно голодает, т.к. купить там поесть нечего*». Задавалась резонным вопросом: «*Что же тогда есть в тех городах, которые еще дальше от Москвы или других больших городов?*». Такое положение казалось женщине «*ненормальным*», порождающим в тех же очередях «*нехорошие разговоры, от которых становится обидно*» [7].

Что касается писем, ориентированных на получение поддержки от вождя по конкретному вопросу, то постепенно сложился и закрепился определенный шаблон такого рода «*прошений*» (о материальной помощи, справедливом разборе дела осужденного и др.). Начальная (порой – довольно обширная) часть письма обычно посвящалась углублению в тот событийный ряд, который, по мнению корреспондента (или корреспондентов), имел косвенное или прямое отношение к актуальной его (их) проблеме. Так, достаточно эмоционально могла быть изложена история жизни «героя» письма, которая чаще всего велась от бедственного положения его родителей в царской России, через трудности его собственного взросления и становления к настоящим (безусловно, разительным) переменам. В этом месте почти в обязательном порядке обнаруживается момент

эмоционального всплеска по поводу положительных трансформаций, которые произошли в советское время, и, на самом деле, в большинстве случаев весьма затруднительно прояснить, насколько искренен автор письма в своих дифирамбах свершениям Советской власти (единственное – он может, вольно или невольно, «обнажить» свое истинное мнение об этих достижениях позже). Важным элементом письма, предшествующим изложению конкретной проблемы и просьбы, нередко выступает момент самокритики или даже самообличения, которым автор как бы подтверждает свою правдивость и преданность. В «самокритичном» сюжете письма речь могла идти о совершенно безобидных прегрешениях либо, напротив, происходило признание вины как раз в том, что, очевидно, и явилось поводом к написанию данного письма. В последнем случае автор использовал возможность дать собственное видение вопроса, иное измерение собственной вины и пр. Следовавшая далее конкретика жалоб и просьб обычно шлифовалась уверениями, что лучшей жизни, чем в СССР, автор себе не представляет; в крайнем случае, автор выражал надежды на ее всемерное улучшение в ближайшем будущем.

Характерно, что подобной, по-своему «грамотной» (как казалось, гарантирующей внимание власть предержащих) логике изложения следовали не только взрослые люди, но даже дети и подростки (которым, безусловно, могли помогать в написании писем представители старших поколений). Например, четвероклассница из г. Харькова Майя Водяникова, пытаясь защитить своего арестованного отца в письме к М.И. Калинину от 22 апреля 1938 г., подчеркивала его рабочее происхождение, раннее сиротство (*«папа остался без средств и малограмотным»*) и лишения, которые он претерпел в юности (*«босый и голый, всегда нуждался в хлебе»*). Не меньше внимания уделила девочка истории жизни матери (*«дочери крестьянина-бедняка»*), специально остановившись на эпизоде, когда *«во время Деникина»* в доме мамы производился обыск, женщина была избита. Есть в письме школьницы и по-своему неизбежный момент признания, когда на свет было извлечено *«грязное пятно»* из жизни отца, *«за которое он сам страдает, но он не виноват»*. Собственно, речь в данном случае идет о непосредственной причине ареста: *«Папа поступил на работу и не скрыл, а писал в анкете, что был мобилизован, – за что папа и арестован сейчас как офицер, но офицером папа никогда не был и не мог быть»*. В завершающей части письма харьковской школьницы, кроме просьб о помощи и заверений в благодарности, вновь муссировалась тема идеальной жизни семьи Водяниковых в Советском Союзе: *«Дорогой Михаил Иванович, мои родители и я стали спокойно жить и счастливо в нашей свободной родной стране: комнату мы получили из горсовета хорошую, светлую, культурно живем»* [8].

Примерно по той же схеме составлено щемящее письмо М.И. Калинину за подписью семерых детей (от 6 до 18 лет) 46-тилетнего И.К. Малиновского. Последний, согласно этому письму от 18 февраля 1938 г., полжизни отработал шахтером на одной из шахт Донбасса, затем по инвалидности перешел в сторожа, но вскоре был арестован. *«Дружно и весело жила семья кадрового рабочего, так как все до мелочи было за отцом»*, – таким сохранилось прошлое семьи в памяти детей. В настоящем же многодетная семья ощутила себя беспомощной; как указано в письме, *«далекими и не нужными стране людьми»*. Обращение к Калинину детей, совершенно не осведомленных о сути предъявленных отцу обвинений, заключалось в следующем: *«Мы, семеро детей, убедительно просим Президиум Верховного Совета СССР обратить самое серьезное внимание к нам, семерым детям, и нашей маме, и помиловать нашего дорогого отца и вернуть его домой к своим детям, чтобы мы и впредь могли дружно и весело жить в нашей прекрасной стране, иначе мы пропадем как собаки скверного хозяина»* [9].

Еще более примечателен настрой сыновей жителя г. Харькова П.И. Синевича, осужденного на восемь лет и уже около двух лет отбывавшего наказание на Дальнем Востоке. В письме от 12 марта 1938 г., адресованном Н.К. Крупской, мальчики обрисовали свое бедственное положение: *«Мы ходим в школу голые, босые, страшно голодаем. Ведь причем мы, что нашего папу посадили. Мы сейчас занимаем угол – платим 25 рублей. Мама ходит по чужим людям, стирает белье, дабы дать что-нибудь покушать. Мы смотрим на мальчиков, которые ходят с нами в одну школу: они все одетые и обутые, и радостно и весело живут. Мы также хотим жить весело и радостно, как наш любимый родной Сталин»*. Разрешение своей проблемы Жора и Женя видели в

отправке их с матерью к отцу, о чем и просили Крупскую: «...чтобы мы были вместе, и мы надеемся, что Вы создадите счастливую радостную жизнь» [10]. Из многократного повторения слов о «радостной жизни» не трудно представить себе мечту этих обездоленных детей.

Но даже дети понимали, что нужно следовать некоему канону, и прежде чем обратиться за объяснениями или с конкретной просьбой к вождю, стоит сказать некие ласковые слова, выразить если не подобоострастное, то уважительное отношение к нему. Поэтому так не по годам тщательно подбирал слова для своего письма М.И. Калинин ученик 7 класса из г. Аткарска Саратовской области Иосиф Григорьевич Любимов (С. 340-341). В письме, датированном апрелем 1937 г., подросток путался в обращении к адресату (использовал одновременно «ты» и «Вы»), но мотивацию написать «другу и лучшему руководителю страны» сформулировал точно. Цель данного письма состояла в просьбе объяснить некоторые процессы и явления в жизни города Аткарска, по поводу которых у мальчика возникли «сомнения». «Если Вы объясните, то я буду очень рад и доволен», – выводит он в конце письма [11].

Дело в том, что обращения Иосифа к городскому начальству (а эту стадию он уже прошел), успехом не увенчались («...говорят, что ты еще мал и утри сопли»). Он же продолжал беспокоиться о несоответствии происходящего в родном городе «судьбе или закону». Если конкретизировать, то беспокойство вызывали: закрытие и слом церквей, грошовая зарплата рабочих людей, «неподсильная» производственная занятость женщин и др. Мальчик достаточно грамотно для своего возраста излагал суть этих проблем, по его предположению, характерных исключительно для Аткарска (по крайней мере, по своему опыту пребывания в Москве и Московской области, он видел там лучшую жизнь). Анализ происходил в контексте сравнения «старой» и «новой» жизни, и Иосиф находился под впечатлением от того, что вокруг немало «старых» и «средних» (вероятно, по возрасту) людей, которые делают выбор в пользу той жизни, что была в дореволюционном прошлом. Как можно понять из письма Иосифа Любимого, он, при всей своей уверенности в «победе» (надо думать, социалистического строительства), после тщательной «проработки» Конституции оказывается на стороне этих людей, а значит – «в водовороте между капиталистическим и социалистическим обществом». Такое собственное положение его тревожит, вот он и обращается за разрешением сомнений к Калинин. Ведь поскольку «Конституция дает право любого гражданина на все, что он хочет», то, к примеру, советский гражданин должен иметь право и возможность ходить в «любимую» церковь [12].

Сомнениями в те годы мучились не только дети, но и взрослые. И, кстати, довольно часто призывая на помощь именно «свежеиспеченную» Конституцию 1936 г., требовали от вождей соблюдения законности («по Конституции») и рациональных объяснений по поводу расхождения положений законов и лозунгов с действительным течением жизни в их городах.

Самим корреспондентам реалии городской повседневности порой казались столь ненормальными и фантазмагоричными, что они опасались, что вождь-адресат вряд ли в них поверит. «[Если Вы прочитаете] мое описание на двадцатой годовщине Октября – подумаете, что [это] ложь», – прогнозировал реакцию Калинина на собственное письмо от 17 апреля 1937 г. рабочий Госспичфабрики «Волна революции» В. Третьяков, проживавший в г. Новозыбкове Западной области. «Кошмар» в сфере продовольственного снабжения города, который описывал Третьяков, заключался в ежедневных огромных очередях за хлебом, стояние в которых для многих оканчивалось безрезультатно (хлеба на всех не хватало), а для некоторых – даже смертью (имеет в виду двух задавленных беременными женщинами). Кроме того, хлынувшие в города за хлебом сельские жители из близлежащих к Новозыбкову районов вызывали «вражду и скандалы» («а они не виноваты», т.к. «на село до 1.01.1937 г. возили хлеб, а с 1.01. это прекратили»), разрушение «смычки города с деревней». В отношении других продуктов, а тем более «мануфактуры» положение было еще хуже. Чтобы убедить Калинина, что ситуация именно такова, Третьяков просил: «...вышлите беспристрастного надежного товарища, пусть он приедет в город Новозыбков. Поезд Московский к нам прибывает в 4 часа утра, пусть он возьмет извозчика и скажет ему, чтобы он его повозил по всем хлебным магазинам, около которых он уже увидит очередь человек в 150-200. Пусть инкогнито поинтересуется,

посмотрит, что получается. Когда станут открывать хлебные магазины, это один кошмар, и этот товарищ воочию убедится, что здесь написанное – истинная правда» [13].

В отличие от приведенных выше посланий, авторам анонимных писем вождям не было необходимости прятать или вуалировать свои негативные эмоции. Выплеск последних и был одним из посылов подобных писем, естественно, наряду с надеждой добиться справедливости, понудить власть изменить сложившийся порядок. Так, письмо анонимных авторов В.М. Молотову, датированное 20 июня 1938 г., посвящено политическим репрессиям в стране. Оно предельно насыщено негативной информацией, которая излагается трезво, но, одновременно, высоко эмоционально: *«История не знает еще такого гонения на людей, какое происходит в наше время, а в особенности за последние годы – 1937 и 1938. Сплошной ужас... Сотни тысяч людей томятся по тюрьмам, не зная совершенно за что. <...> Все запуганы. <...> Страданиям людей не видно конца»*. Примечательно, что авторы письма не являются просителями по какому-то конкретному «делу», а исполнены жалости и сочувствия к невинно осужденным – тем, *«кто гниет заживо и умирает медленной, но ужасной смертью»* в местах заключения, которые *«теперь зовутся кладбищем живых»*. Эти люди находятся на одном полюсе внимания корреспондентов Молотова, а на другом – работники НКВД, прокуроры и иные инстанции, которые ответственны за масштаб репрессий. Будучи *«полными хозяевами страны»* (*«что задумают, то и сделают»*), эти люди сознательно усугубляют положение репрессированных. К ним примыкают доносчики, желающие показать свою *«бдительность»*, а, на самом деле, являющиеся *«подлецами-карьеристами»*, *«по “злумышленной клевете” которых осуждаются сотни тысяч “безвинных”»*. Между этими полюсами и помещается авторами анонимного письма фигура Молотова, которому предлагается попытаться изменить ситуацию. Основания для этого – слухи, курсирующие среди населения, что Молотов – *«добрый и благородный человек, а значит и справедливый»*. Именно поэтому авторы умоляют его проверить все факты лично, взывая к нему на самой трагической ноте: *«Если Вы не поможете, то все погибнут. Умоляем Вас, спасите!»*. Внимание привлекает также постскрипtum *«Простите, что не подписываемся, ведь жаловаться нельзя...»*, который выдает противоречия, которые испытывали люди, вынужденные прибегнуть к анонимному письму [14]. С одной стороны, они показывают, что вполне усвоили правила поведения в советском социуме и не собираются «отпадать» от него. С другой стороны – желают, чтобы их воспринимали как приличных людей, в обычае которых подписывать свои послания, а никак не в роли доносчиков, столь типичной для рассматриваемого периода.

Не такой уж уникальный случай, когда в письме содержится угроза отчаявшегося до крайней степени человека совершить самоубийство. А случается, что автор обещает прибегнуть не только к самоубийству, но даже и к убийству. Так, 23-летний Сергей Толоконников, старший из четырех сыновей Владимира Толоконникова (*«пьяницы»* и *«лишенца»*) предупреждает М.И. Калинина, что вполне готов убить отца, из-за которого семья терпит разнообразные жизненные трудности. Согласно письму, пришедшему на имя Калинина в феврале 1936 г. из г. Краснослободска, мать Сергея развелась с отцом из-за его пьянства и туеядства еще в 1927 г., однако когда в 1930 г. отца лишили избирательных прав по причине подпорченной биографии (службы в полиции в течение полугода), то его бывшая семья в полной мере хлебнула связанных с этим проблем. Мало того, что детям Толоконникова и так пришлось расти в нужде (носить одежду из мешковины, с подросткового возраста самим зарабатывать на жизнь и вообще иметь *«золотую юность»*), так теперь их гнали с работы и презирали. Все четыре сына лишенца Толоконникова на момент написания письма не работали и, по словам старшего Сергея, находились в отчаянии, были *«готовы задушить бывшего отца»*, из-за которого буквально *«погибали»*. Отрекаясь от отца как *«врага социалистического строительства»*, Сергей настаивал на том, что он и братья – *«советские дети»*, воспитанные не этим человеком, а советской школой, и они всегда жили в соответствии с генеральной линией партии. Автор письма просил об элементарной возможности работать, то есть, собственно, жить, стремиться к *«лучшей советской жизни»*. Просьба оказать содействие адресовалась именно Калинину *«как лучшему другу детей и пролетариата»* [15].

Таким образом, выплеск эмоций такой силы, когда человек доводил до вождя угрозу проститься с жизнью либо забрать жизнь у другого человека, происходил в связи с наступлением безысходной ситуации, когда он последовательно терял все нормальные (читай – элементарные) позиции существования, что было, как известно, обычной практикой по отношению к семьям «врагов народа» в 1930-е гг. Восемнадцатилетняя жительница г. Мерефа Харьковской области Анна Кривко почувствовала себя выброшенной «за борт жизни», когда ее отец (рабочий-плотник Мерефянского стекольного завода) и его брат (служащий-проводник вагонов на станции Харьков) были арестованы органами НКВД, и семья девушки (бабушка, мать, сестра младенческого возраста) тут же лишилась квартиры, а она сама – государственной стипендии в университете и работы. В письме депутату Верховного Совета СССР В.Я. Чубарю Анна Кривко рассказала свою историю, мало пытаясь оправдать отца («никогда не замечала с его стороны ничего, что могло бы вызвать у меня подозрения», а иначе «я бы выдала его органам НКВД»), фактически от него отказываясь («у меня нет чувств дочери к нему, они побеждены великими чувствами долга советского гражданина перед родиной, перед комсомолом, перед партией»; «разве мы [с сестрой] виноваты, что родились именно от этого человека»). В письме от 25.01.1938 г. девушка просит Чубаря помочь вернуть жилье и работу, неоднократно угрожая не только самоубийством, но и убийством маленькой сестры. Взывает: «Но ведь я же гражданка Советского Союза, за Сталинской Конституцией имею право на труд, право на жизнь». Практически тем же днем датировано письмо к Чубарю «просительницы» Александры Кривко, приходившейся женой дяде Анны, арестованному вместе с ее отцом. Женщина также оказалась с полуторагодовалым ребенком на улице, поэтому абсолютно не пыталась просить за мужа, а стремилась довести до адресата письма информацию о том, что квартира принадлежит лично ей, а не мужу. Справедливости ради надо отметить, что обе семьи спустя два месяца после проведенной проверки были вселены обратно в свои квартиры, а жалобницы – устроены на работу [15].

Пытаясь спасти остатки жизненных ресурсов, другая жительница г. Мерефа А.Н. Сидоренко все же вначале хлопотала перед В.Я. Чубарем за арестованного мужа (66-летнего школьного учителя, вряд ли при его состоянии здоровья способного достаточно долго протянуть в тюрьме), а уж потом – за дочь, которая могла пострадать из-за обвинений против отца. «В крайнем случае, если живого его не реабилитируют, то я прошу, чтобы с него хоть после смерти сняли обвинение (потому что он ни в чем не виновен). Это необходимо для нашей дочери, которая кончает 10-й класс и у которой страстное желание продолжать образование», – писала Сидоренко в феврале 1938 г. [16]. По прочтении этих прошений от жительниц г. Мерефа трудно отделаться от ощущения, что бытие на грани выживания невольно приводило людей к душевному очерствению. Во имя более-менее сносной жизни, которую женам и детям «врагов народа» так легко было потерять, они готовы были отмежеваться от своих родных людей, которые вчера еще были рядом.

Как ясно из уже рассмотренного материала, вожди выступали высшей инстанцией, располагавшей, согласно представлениям большинства советских граждан, огромным (если не безграничным) потенциалом восстанавливать справедливость. Им также нередко поверялись самые высокие эмоциональные порывы. Для харьковчанина Николая Шелейко, который, как он сообщал М.И. Калинину, «душою заболел», такой порыв заключался в равнодушии к судьбам революционного народа Испании. «Испанский вопрос – не частное дело испанцев», – раскрывает Шелейко суть своей позиции в письме от 25 февраля 1938 г. Что касается душевных терзаний, то они рисуются так: «...Два чувства овладели мною. Первое дает понять, что я, возможно, делаю непоправимую глупость, написав Вам это письмо; второе же мучает, сжимает до боли грудь, ступшевывает первое и становится неизбежным, неукротимым диктатором моей натуры. <...> Я стал жертвой своей меланхолии, своей ненависти и, возможно, что самонасилия над своей жизнью, насколько дело так далеко зашло». Не один месяц вынашиваемой мечтой 25-летнего мужчины являлась борьба в Интернациональной бригаде Испании, причем любые препятствующие такому шагу обстоятельства рассматривались им трагически. В частности, само напряженное ожидание отъезда в Испанию спровоцировало кризис, когда жизнь для Шелейко «вообще потеряла свой смысл». «Сейчас кризис назрел, я заметил,

что теряю интерес к книгам, – констатировал автор письма. – Потерял аппетит, похудел. На производстве дело не клеится: считался хорошим слесарем, сейчас делаю много брака, смотрю в чертежи и ни черта не понимаю, не потому что я плохо их знаю, а потому что мысли мои летят мимо этих чертежей, далеко за пределы цеха, даже за пределы моей родины. В общем, я болен, но никто не знает чем. По натуре я веселый, бодрый, жизнерадостный, но товарищи стали замечать мое уныние, и мне приходится изображать то, чем я был до того, как мысли об Испании не волновали меня. Умную красивую девушку я очень любил, но сказал ей, что, пока будет война в Испании, брак наш невозможен, она не поняла меня, и мы разошлись. Да, Испанский вопрос я ставлю выше самого себя, выше собственного благополучия и даже выше любви». Судя по всему, от Калинина Николай Шелейко ожидал моральной поддержки и некоего «отпущения грехов» по поводу своей непатриотичной позиции; мужчина опасался, что такой яростный настрой на борьбу за ценности всемирной революции даст основания окружающим считать его «изменником родины» [17]. Очевидно, что, заручившись письмом от вождя, он мог погрузиться в эмоции по поводу ситуации в Испании еще более страстно и, что немаловажно, не оглядываясь на мнение окружающих.

Поскольку письма во власть содержат, по преимуществу, жалобы и просьбы, то искать в них некие любовные мотивы кажется занятием пустым. Но не стоит спешить с выводами, так как речь идет о письмах, адресованных рядовыми советскими гражданами первым лицам партии и государства. И значит вполне можно ожидать повышенного градуса выражения лести и чиновничества, шаблоны которых граждане могли без усилий почерпнуть из ангажированной советской прессы. Кроме того, обращение к представителю власти посредством письма предусматривало «выбор определенной стратегии, рассчитанной на достижение максимальной эффективности апелляции» [18], и значит лесть как одна из «работающих» стратегий была более чем уместна.

Однако ясно, что лесть как угодливое восхваление кого-либо, внушаемое корыстными побуждениями, отнюдь не обязательно должна сопровождаться любовными эпитетами, как, вероятно, излишне сильными в случае обращения к совершенно незнакомым, находящимся на недостижимой дистанции людям, какими обычно выступают лидеры, что называется, «первого эшелона». Но в том-то и дело, что вопрос о дистанции советские вожди решали своеобразно. Поскольку они при любом удобном случае позиционировали свою близость к массам, а при помощи средств массовой информации и других манипулятивных технологий были «вхожи» в каждый дом практически ежедневно (если не ежечасно), то вопрос о возможности выражения по отношению к ним интимного чувства отпадал сам собой. То, что он отпадал не только гипотетически, но и реально, доказывает немалая часть проанализированных нами писем.

Итак, письма от взрослых и детей, написанные бескорыстно, исключительно ради изъявления чувства к кому-то из вождей персонально, в 1930-е гг. редкостью не были. Возникает впечатление, что такие акции, – особенно те из них, что предпринимались коллективно, – были своего рода «хорошим тоном» рассматриваемого времени, который складывался в немалой степени под влиянием прецедентов, пропагандированных в печати. Как можно судить по риторике подобных писем, корреспонденты получали эмоциональный заряд от самого факта написания текста такого рода (если же реализовывался шанс получить ответ от адресата, то это было пределом мечтаний), а атмосфера, которая сопровождала процесс, была необыденной, захватывающей, включавшей в себя элементы игры и даже риска. Читая некоторые письма, можно ощутить, что у людей буквально перехватывало дух от собственной смелости.

Также присутствовало стремление отождествить себя с целым советского народа, объединенного поклонением конкретным идолам. Отсюда – широкое использование союзов «тоже» и «также». Как пример – письмо пионеров, пришедшее в адрес Калинина в марте 1937 г. «Мы <...> так глубоко преданы Вам, что трудно подобрать слова, чтобы выразить наше чувство к Вам, к кипучему, радостному, остроумному М.И. Калинину. Нет людей, чтобы не слыхали бы о Вас, и мы, пионеры, также выражаем наше чувство к Вам» – приводят свои эмоции к общему знаменателю дети [19].

Изъявления обожания порой балансируют на грани фола. В этом смысле замечательно письмо третьеклассницы Раи Дударевой А.А. Жданову, датированное 7 марта 1938 г.

По-простому раскланявшись с Андреем Александровичем («*добрый день, веселый час*»), девочка спешит сделать признание: «*Мы очень любим вас и всех вождей, как вкусную конфетку*» [20]. На данном примере можно видеть, что в отношении вождей наблюдалась своего рода фетишизация, которую, поскольку речь идет о ребенке, можно отнести именно на счет присущей возрасту игривости. С другой стороны, вполне возможно, дети пытались самоопределиться в своем отношении к вождям, а точнее, интуитивно желали разобраться в сущности той чрезмерной любви и того обожания, которые привлекали к себе эти пространственно далекие, известные лишь по фотографиям в газетах и сообщениях об их гениальных деяниях, фигуры. Ощущая, что такого рода любовь не имеет ничего общего с родственной и чувственной, дети все так же интуитивно пытались приобщиться к ней. Поэтому за «сенсационным» признанием следовала фраза: «*Мы пишем вам и ждем ответ*».

Вопрос об искусственности эмоций особенно актуален для чрезмерно льстивых или пафосных писем, которые слали взрослые. Лесть порой зашкаливала, была неумеренной и неумеренной, полностью теряла связь с реальностью, что демонстрирует, например, письмо жительницы г. Ростова-на-Дону А.М. Данильченко с предложением воздать Сталину за его заслуги должным образом (декабрь 1938 г.). Регулярно просматривая указы Президиума Верховного Совета СССР о награждениях «*всеми видами орденов*» наркомов, командиров и «*других стахановцев*», женщина озаботилась плачевным положением, в этом смысле, Сталина. «*Сталин, с моего понятия и мыслей, моих личных соображений, – решила она, – достоин и должен быть награжден <...> всеми видами почетных орденов и наивысшими видами наград от одиннадцати национальностей и республик нашего Советского Союза СР*». Наряду со справедливостью такого акта, жительница Ростова учитывала его эффектность: «*Вся грудь великого вождя должна быть в орденах, чтобы весь мир видел борца, руководителя в сияющих орденах за дело всех трудящихся масс рабочего класса во всем мире*». Данильченко предлагала также не забыть и «*мать великого вождя*», наградив ее «*дорогим драгоценным подарком*» за то, что «*одарила страну гениальным вождем и великим организатором и учителем рабочих, трудящихся масс всего мира*» [21].

В похвальных, восторженных письмах в адрес вождей, как видим, недостатка нет. Они сохранились в изобилии, однако, как правило, несут минимум конкретной информации (иногда это вполне искренние, но общие фразы) либо вообще отдают формализмом (славословие, дежурные дифирамбы). Большинство таких изъявлений преданности и объяснений в любви, так или иначе, были подчинены инструментальным задачам (что-то попросить, кого-то защитить). Не так просто встретить письмо, в котором чувство к вождю выступало бы в более-менее чистом виде, имело самостоятельное значение, т.е. проясняло бы характер этого особого «отношения». В этом смысле нельзя обойти вниманием письмо гражданина, назвавшего себя А.С. Калиновский (псевдоним). Данное письмо есть примечательный панегирик М.И. Калинину [22].

Из письма, датированного 10 января 1936 г., выясняется, что Калинин получал письма от этого корреспондента на протяжении десяти лет (систематически, но с одним длительным перерывом). Калиновский буквально забрасывал вождя пространственными письмами в 1926–1931 гг., по собственным словам, переживая от этого массу приятных эмоций, среди которых доминировали волнение и радость. Он никогда не подписывался настоящей фамилией и не указывал настоящего адреса, потому что (опять же, по собственным словам) не хотел быть заподозренным в фальши и неискренности, преследовании каких-то выгод. Корреспондент утверждает, что все его письма «*диктовались самой искренней, самой бесхитростной и самой глубокой любовью, как к человеку, выше которого по гениальному уму, по человеческой чистоте, по неслыханной чуткости и сверхчеловеческой доброте и мудрости – стоит только “солнце-счастье” И.В. Сталин*». Примечательно, что восторженность по отношению к Сталину зародилась у Калиновского позже особого отношения к Калинину; осознавать «*все величие, всю неизмеримую гениальную величину И.В. Сталина*» он начал уже после 1931 г., а вот «*первую неизмеримую радость познал*» именно к Калинину, и произошло это пятью годами раньше. Пытаясь прояснить для себя самую такую не вполне традиционную иерархичность, Калиновский приходит к мысли, что Калинин для него «*бого-человек*», а «*И.В. Сталин – бог*». Похоже, именно в желании сохранить эту ипостась за Сталиным, он

упоминает его без традиционной для подобных писем расшифровки инициалов, в то время как «человечный» Калинин рекордное число раз (всего 14) величается по имени-отчеству.

В своем письме Калиновский передает многие терзания, обычно сопутствующие любовному чувству. Он подчеркивает прерывистость мысли и нехватку слов для описания переживаний. Также становится ясно, что на протяжении некоторого времени он писать Калинину бросил, ибо безответность писем (читай, чувства) отвратила его от этого: «Самый слепой фанатик перестал бы молиться тогда, когда узнал бы, что молитвы его не слушает никто». Такой шаг дался Калиновскому очень непросто, тем более что глубокие и содержательные выступления М.И. Калинина его «за эти годы сто раз волновали и доставляли так много удовольствия и радости». В результате, Калиновский не удержался и возобновил свою эпистолярную активность.

Трудно обойти вниманием сходный с фамилией адресата псевдоним автора письма (Калинин – Калиновский). Информации, которая делала бы его личность прозрачнее, немного, но она есть. Это горожанин, пожилой человек, который годом раньше был признан Врачебной комиссией инвалидом, но от пенсии отказался и продолжал работать на прежнем месте. О развитии болезни (от «полупараличей» к «грудной жабе», т.е. стенокардии) Калинин, похоже, своевременно информировался, также как и об успехах Калиновского на производстве.

Выражение любви и почитания максимально; в одном месте послания Калиновский предлагает вырвать из груди свое сердце (как мы знаем, больное) и отдать его адресату, дабы продлить его (судя по всему, ровесника) жизнь «для процветания и счастья всего человечества», в другом – отдать адресату «всю кровь – капля за каплей», причем сделать это «с радостью, с наслаждением». Обоснование такой жертвенности лежит в отождествлении «любимого Михаила Ивановича» с Отчизной («принести собой какую-нибудь пользу для Вас, [а] значит, и для всей Родины»). Калиновский даже делится с вождем потребностью, которая, как он понимает, может вызвать у того смех, а именно: «...увидеть Вас, взять Вашу руку и погладить ее своей рукой, просто прикоснуться к Вам». Собственно, он сам квалифицирует этот порыв как «какое-то собачье чувство», «как пес подходит вдруг к совершенно чуждому человеку и лизнет его руку».

Читая это послание, теряешься в догадках, то ли Калиновский являлся необычайно любвеобильным (до маниакальности) почитателем вождя, то ли был авантюристом. Заподозрить последнее заставляет финальная часть послания, где автор пишет о «своей постоянной просьбе-мечте», повторяемой на протяжении 10 лет. Эта просьба состоит в желании «жить в Москве и быть недалеко от любимого» Михаила Ивановича. «Не дайте мне умереть, не увидите Вас...» – умоляет Калиновский. Письмо венчает апофеозное завершение в духе «многие лета» («...да продлятся Ваши годы <...> на радость всех нас») и подпись: «Ваш, всегда и безраздельно Ваш А.С. Калиновский». Таким образом, затруднительно дать однозначный ответ на вопрос о том, чего больше в «случае Калиновского» – искренней преданности или изощренной лести, фанатизма или прагматизма. Очевидно лишь то, что в случае этом много сходства с той эмоциональной привязанностью, которая называется любовью. Или же – с ее изощренной имитацией.

Писем, имитирующих любовь и почитание в не столь замысловатых формах, гораздо больше. Лесть в них воплощена в самом элементарном, неприкрытом виде, причем у авторов писем порой никаких корыстных мотивов льстить не имелось, тем не менее, такого рода «акты» они совершали, причем некоторые – с известной периодичностью. Как пример – письмо харьковчанина К. Сологуба В.М. Молотову, датированное 18 сентября 1936 г. В нем работающий в Университете Сологуб, даже не будучи членом партии («большевик, хотя и непартийный, к сожалению»), выражал страстное желание как можно чаще слушать по радио выступления руководителей партии и правительства. «А как хотелось бы послушать, и не только раз или часто слушать, а без конца слушать, хотя бы по радио нашего всеми любимого дорогого товарища Сталина! Разумеется, я выражаю желание многих и многих сотен миллионов трудящихся всего мира» [23]. Употребление эпитета «любимый» по отношению к вождю здесь в высшей степени формально, хотя бы потому, что вместо индивидуализации чувства происходит отождествление с желаниями «сотен миллионов» в максимально широком географическом континууме неизвестных автору людей, от имени

которых он и высказывается. Вообще налицо факт, что в эпистолярные источники переключивается газетная риторика.

И все-таки чаще всего подоплекой писем, переполненных лестью, являлось то, что корреспондентами так – более или менее искусно – готовилась почва для каких-либо просьб. К примеру, «глубокоуважающая» Г.К. Орджоникидзе жительница г. Свердловска 49-тилетняя Ангелина Транквиллиновна Портнягина, принадлежавшая к научным кадрам Уральского Индустриального Института, делала это пусть грубовато, но потенциально грамотно [24]. Судя по завершению ее письма от 1 января 1937 г., Портнягина хотела заручиться особым вниманием Орджоникидзе к ее общественным инициативам (налаживанию работы образцового детского сада). *«Вы меня поймете и поможете провести мои планы в жизнь. Хотела бы получить право и в дальнейшем непосредственно Вам рапортовать о работе. Ваше внимание обеспечит и внимание со стороны местных организаций»*, – рационально рассуждала общественница. Примечательно, что еще в начале письма, в порядке подготовки почвы, Портнягина аттестовала себя как *«одну из счастливейших женщин Союза, которая своими глазами видела Великого, мудрого товарища Сталина»* и его друга и помощника Орджоникидзе, *«вырастившего замечательное движение жен»*. Далее слово «счастье» и производные от него употребляются автором письма исключительно в контексте общественной жизни: Портнягина хотела бы *«испытать счастье»* быть принятой в ряды партии; она отмечает, что вожди ведут советских людей *«в прекрасную счастливую жизнь»* и даже обладают способностью омолаживать их, давать *«способность забывать свои годы»* (лично она *«молодеет»*, когда смотрит *«на свою новенькую веломашину, полученную в подарок»* как раз от Серго Орджоникидзе). Вообще примечательно, что слова, передающие эмоциональный настрой женщины, «привязаны» исключительно к производственной и общественной тематике, в то время как отзыв о частной сфере жизни предельно сух: *«никогда не замыкалась в скорлупу личной жизни»*, ибо *«имею большой общественный инстинкт»*. К сфере общественной самореализации относятся отдельные фразы письма, рождающие эротические коннотации: *«отдаться партийной работе»*, *«я от природы страстный агитатор»*. Доля чувственности заметна и в прощальной фразе письма: *«Если я буду иметь когда-нибудь возможность говорить с Вами лично, я еще больше буду счастлива, а теперь я хочу, чтобы Ваши глаза коснулись моих строк»*. В общем, письмо оставляет некоторое впечатление весьма талантливо «по-советски» завуалированного кокетства (флирта), причем корреспондентка использует его ради *«любви к детям, делу и нашей Советской стране»* (не исключено, что и для карьерного продвижения). Собственно, происходит это как будто безотчетно; письмо свидетельствует, что все возможные эмоции просто переключались в общественную сферу жизни А.Т. Портнягиной.

В порядке рассуждения об эмоциях, которые побуждали к письмам вождям, нельзя не упомянуть о такой из них как страх. Опыт жизни в СССР 1930-х гг. способствовал тому, что в советских людях вырабатывалась высокая настороженность, когда при определенных обстоятельствах они начинали буквально «за версту» ощущать, как сгущаются тучи над головой и нарастает опасность попасть под каток террора. В таких критических ситуациях, в целях упреждения «удара» либо купирования тревожных переживаний, граждане также могли прибегать к обращениям во власть на самом высоком уровне. В случае студента Одесского Строительного Института Давида Гершгорина результативность его письма к *«любимому»* Вячеславу Михайловичу Молотову, датированного мартом 1935 г., имела особенное значение. Дело в том, что, несмотря на огромное впечатление от последних докладов Молотова как *«шедевра марксистско-ленинского анализа»*, студент опрометчиво охарактеризовал один из них на политическом часе в своем учебном заведении как *«сухой и ограниченный»*. *«Так, по крайней мере, заявили несколько товарищей коммунистов. Сам я даже не заметил, что так сказал»*, – признается в письме Молотову молодой человек. Он настаивает, что сказанное было *«несознательной случайностью»*, и *«могло случиться только в результате неправильного построения фразы»*. Клянется, что *«ничего подобного в мыслях нет, не может быть и никогда не будет»*. Надеясь, что при поддержке Молотова *«клеймо троцкиста»* могло бы быть с него снято, Гершгорин неоднократно умоляет адресата письма о прощении, несколько раз называет его *«любимым»*. Обещает: *«Ваше прощение вольет в меня новую струю энтузиазма, парализует то глубокое отчаяние,*

которое охватило меня и тяготит, не переставая» [25]. Сомнений нет, что Гершгорин в момент написания письма находился в совершеннейшем отчаянии, порожденном страхом за свою судьбу.

На примере письма Гершгорина и некоторых других писем, демонстрирующих превышение пределов желательного выражения чувств и преданности со стороны масс, возникает уникальная возможность отследить отношение к экзальтированности или неискренности корреспондентов со стороны адресатов. Дело в том, что вожди, обычно реагиовавшие на письма короткими нейтральными указаниями или переадресацией («Рассмотреть», «Вышинскому» и пр.), могли позволить себе в подобных случаях толику сдержанной иронии. Так, на письме Гершгорина, насыщенном уверениями в любви, имеется следующая резолюция В.М. Молотова: «Любимому товарищу Вегеру – на распоряжение, 25/III (Молотов)» [26].

Заключение.

Таким образом, складывается впечатление, что мечтой массы советских людей, проживавших в провинциальных городах в предвоенное десятилетие, была некая «радостная жизнь». Волей-неволей они «делились» мыслями об этой мечте с вождями, так как с помощью писем пытались достучаться до них и донести, наконец, насколько далеки идеалы от своего свершения, насколько их реальная повседневность расходится с рапортами на съездах и в советской печати. Примечательно, что трансформации наполнения понятия «радостная жизнь» (всегда, впрочем, с современных позиций, скромного, непритязательного) зависели от того, чего на данный момент решила лишиться партия зависимых от ее политики граждан. На старте 1930-х гг. в недостатке были хлеб и прочие продукты, а во второй их половине представления о радости и счастье связывались многими с нормальным существованием в полных семьях.

Усталые люди, с усилием изображавшие радость, а, точнее, ее суррогаты в своих письмах вождям, на самом деле, чувствовали себя «собаками скверного хозяина». Их социальная зависть по отношению к адресатам зиждилась не на знании об их ином материальном положении (о нем они были абсолютно не осведомлены), а на неком ощущении отличной от своей жизни, которую эти «небожители» ведут. Бодрые и оптимистичные, ухоженные и энергичные, вожди производили впечатление людей новой формации, до которых основной массе корреспондентов ни за что не дотянуть. Рядовые граждане чувствовали, что для подобного тона нужны какие-то иные условия существования, которые, вероятно, у этих людей имеются. Они же, взамен «радости», были обречены испытывать подавленность, депрессию, неврозы, а в крайних случаях, хотя бы и только мысленно, склонялись к суициду. Судя по письмам к советским вождям, таков был удел слишком многих в 1930-е гг.

Примечания:

1. Письма во власть. 1928–1939 гг.: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям. М.: РОСПЭН, 2002. С. 276.
2. Там же. С. 6.
3. Поскольку советские вожди (И.В. Сталин, М.И. Калинин, В.М. Молотов и др.) являлись объектом массового апеллирования во власть, то к настоящему времени обращения к ним граждан опубликованы и в других сборниках документов, хотя и не в таком объеме. См. напр.: Общество и власть. Российская провинция. Июнь 1941 г. – 1953 г. Т.3. М.: ИРИ РАН, 2005.
4. Письма во власть... М., 2002. С. 280.
5. Там же. С. 277–279.
6. Там же. С. 280–281.
7. Там же. С. 424.
8. Там же. С. 410–411.
9. Там же. С. 402.
10. Там же. С. 407–408.
11. Там же. С. 341.
12. Там же.

13. Там же. С. 341–343.
14. Там же. С. 416–417.
15. Там же. С. 293–297.
16. Там же. С. 399.
17. Там же. С. 405–406.
18. Там же. С. 6.
19. Там же. С. 331.
20. Там же. С. 407.
21. Там же. С. 427–428.
22. Там же. С. 288–290.
23. Там же. С. 311–312.
24. Там же. С. 325–327.
25. Там же. С. 263–264.
26. Там же. С. 264.

References:

1. Pis'ma vo vlast'. 1928–1939 gg.: Zayavleniya, zhaloby, donosy, pis'ma v gosudarstvennyye struktury i sovetskim vozhdyam. M.: ROSPEN, 2002. S. 276.
2. Tam zhe. S. 6.
3. Poskol'ku sovetskie vozhd'i (I.V. Stalin, M.I. Kalinin, V.M. Molotov i dr.) yavlyalis' ob"ektom massovogo apellirovaniya vo vlast', to k nastoyashchemu vremeni obrashcheniya k nim grazhdan opublikovany i v drugikh sbornikakh dokumentov, khotya i ne v takom ob"eme. Sm. napr.: Obshchestvo i vlast'. Rossiiskaya provintsiya. Iyun' 1941 g. – 1953 g. T.3. M.: IRI RAN, 2005.
4. Pis'ma vo vlast'... M., 2002. S. 280.
5. Tam zhe. S. 277–279.
6. Tam zhe. S. 280–281.
7. Tam zhe. S. 424.
8. Tam zhe. S. 410–411.
9. Tam zhe. S. 402.
10. Tam zhe. S. 407–408.
11. Tam zhe. S. 341.
12. Tam zhe.
13. Tam zhe. S. 341–343.
14. Tam zhe. S. 416–417.
15. Tam zhe. S. 293–297.
16. Tam zhe. S. 399.
17. Tam zhe. S. 405–406.
18. Tam zhe. S. 6.
19. Tam zhe. S. 331.
20. Tam zhe. S. 407.
21. Tam zhe. S. 427–428.
22. Tam zhe. S. 288–290.
23. Tam zhe. S. 311–312.
24. Tam zhe. S. 325–327.
25. Tam zhe. S. 263–264.
26. Tam zhe. S. 264.

УДК 94(47) «1931/1939»

**«Мы также хотим жить радостно, как наш любимый Сталин»:
эмоциональный срез писем вождям
из провинциальных городов СССР (1930-е гг.)**

Ирина Геннадьевна Тажидинова

Кубанский государственный университет, Российская Федерация
350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 4
Кандидат исторических наук
E-mail: tajidinova@yandex.ru

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению эмоциональной сферы советской повседневности в ракурсе культурной истории эмоций. Исследование этого среза повседневности (на примере провинциальных городов СССР 1930-х гг.) требует привлечения соответствующих источников. Такими источниками в данном случае выступили письма вождям (Сталину, Молотову, Калинин и др.) от рядовых граждан. Эти документы содержат описание различных сторон жизни провинциальных городов страны, характерные просьбы горожан, и, в целом, дают представление о том, что идеалом советских людей довоенного десятилетия являлась «радостная жизнь», которой, в основной своей массе, они были обделены.

Ключевые слова: Культурная история эмоций; повседневность провинциального города; письма во власть; жалобы; просьбы; выживание; эмоциональная реакция; печаль; горе; радость; счастье; любовь.